

400  
Игорь-Северянин



**Роса  
оранжевого  
часа**

Поэма детства в 3-х частях

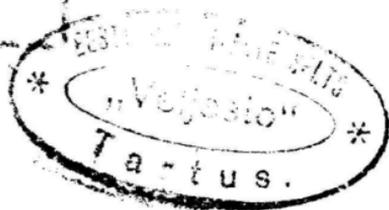


Издательство Вадим Бергман

ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН

РОСА ОРАНЖЕВОГО  
ЧАСА

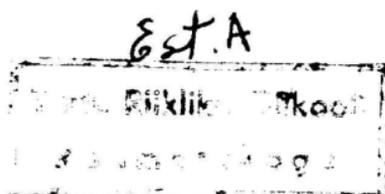
ПОЭМА ДЕТСТВА В 3-Х ЧАСТЯХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ВАДИМ БЕРГМАН  
ЮРЬЕВ-TARTU (ЭСТОНИЯ)

1925

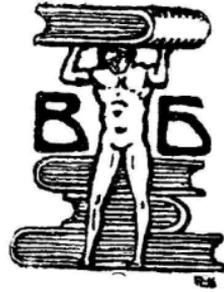
Эта работа выполнена в феврале 1923 г.  
Eesti, Toila.



15689

241754049

Типография Эд. Бергман, Юрьев



## Вступление



1.

Роса оранжевого часа, —  
Когда восход, когда закат.  
И умудренность контробаса,  
И рядом мистика баллад,  
И соловьев бездумных трели,  
Крылатый аромат цветов,  
И сталь озер, и стиль Растрелли —  
Роса оранжевых часов...

Пылающие солнца стрелы  
Мне заменяют карандаш.  
Зыряне, шведы и мингрелы —  
Все говорят: „Ты — наш! ты — наш!“  
На голове в восторге волос  
Приподнимается от стрел,  
И некий возвещает голос:  
„— Ты окончательно созрел.  
Но вскоре осень: будет немо...  
Пой, ничего не утая:  
Ведь эта самая поэма —  
Песнь лебединая твоя.“ —

2.

Отец и мать! вы оба правы  
И предо мной, и пред страной:  
Вы дали жизнь певцу дубравы  
И лиру с праведной струной.  
Я сам добавил остальные —



Шесть самодельных острых струн.  
Медно-серебряно-стальные  
Они — то голубь, то бурун.  
Когда беру аккорд на лире  
Неверный, слышит и луна:  
О солнечной душевной шири  
Поет та первая, струна.  
Благодаря лишь ей, вся песня,  
Где в меди песенной литой  
Порой проскальзывает „пресня“  
Таит оттенок золотой.  
Отец и мать! вы вечно правы!  
Ваш сын виновный — правдой прав.  
Клоню пред вами знамя славы,  
К могилам дорогим припав.

# Часть I



1.

Я видел в детстве сон престранный,  
Престранный видел в детстве сон...

Но раньше в Петербург туманный,  
Что в Петроград преображон,  
Перелетаю неустанной  
Своею мыслью, с двух сторон  
Начав свое повествованье:  
С отца и с матери. Вниманье!  
Начало до моих времён.

2.

Родился я, как все, случайно  
И без предвзятости при том...  
Был на Гороховой наш дом.  
Отец был рад необычайно,  
Когда товарищ по полку  
Затеял вдруг в юмандировку  
Из телеграмм бомбардировку.  
И лёжа на живом шелку  
Травы весенней, в телеграмме  
Прочел счастливый мой *рафа*  
Что я родился, дея *pas*,  
*Pas*, предусмотренные в драме,  
Какую жизнью свет зовет.  
Ему привет товарищ шлет  
И поздравляет папу с сыном  
Егорушкой. Таким скотинам,



Как этот Дэмбский, папин друг,  
Перековеркавший мне имя,  
Я дал бы, раньше всех наук,  
Урок: ошибками своими  
Таланта не обездарять:  
Ведь Игоря об'егорять —  
Не то, что дурня об'игорить,  
Каким был этот офицер...  
Ему бы, всем другим в пример,  
Лицо полезно разузорить...  
Отец мой, вмиг поняв ошибку  
Приятеля, с киргофских гор  
Прислал привет отцовский в зыбку.  
Шалишь, брат: Игорь — не Егор!  
„Егор! Егорий!“ так на торге  
Базарном звал народ простой  
Того, кто в жизни был Георгий  
Победоносный и святой.

### 3.

Отец мой, офицер сапёрный,  
Был из владимирских мещан.  
Он светлый ум имел бесспорный  
Немного в духе англичан.  
Была не глупой Пелагея,  
Поэта бабка по отцу:  
На школу денег не жалея,  
Велела дедушке-купцу  
Вести детей в далекий Ревель  
И поместить их в пансион,  
Где дух немецкий королевил  
Вплоть до республичных времён...  
Отец, сестра Елисавета



И брат, мой дядя Михаил,  
Все трое испытали это,  
И как у них хватило сил?  
В четыре года по немецки  
Отец мой правильно болтал,  
А бабка по замоскворецки  
Копила детям капитал.  
Окончив Инженерный замок,  
Отец мой вышел в батальон,  
Не признавая строгих рамок,  
Каких нескопленный мильон  
Леонтьевны хотел от сына, —  
На то была своя причина:  
Великолепнейший лингвист  
И образован, и воспитан,  
Он был умен, он был начитан;  
Любил, под соловьиный свист,  
Немного помечтать; частенько  
Бывал он в Comédie Française;  
Но вместе с тем и Разин Стенька  
В душе, где бродит русский бес,  
Обрел себе по праву место:  
И оргии, и кутежи  
Ему не чужды были. Лжи  
Не выносил он лишь. Невеста,  
Поэта мать, была одна,  
Зато — мильон одна жена...

4.

А мать моя была курянка,  
Из рода древнего дворянка,  
При чем до двадцати двух лет  
Не знала вовсе в кухню след.



Дочь предводителя дворянства  
Всех мерила на свой аршин;  
Естественно, что дон-жуанство  
Супруга — чувство до вершин  
Взнести успешно не смогло бы.  
Степан Сергеевич Шеншин,  
Ее отец, не ведал злобы,  
Был безобидный человек.  
В то время люди без аптек,  
Совсем почти без медицины  
На свете жили. Десятины  
Прекрасной пахотной земли  
Давали всё, что дать могли.  
„Борисовка“, затем „Гремячка“  
И старый „Патепник“ — вот три  
Именья дедушки. Смотри,  
Какая жизнь была! Собачка,  
Последняя из барских сук,  
Жила, я думаю, богаче,  
Не говоря уже о кляче,  
Чем я, поэт, дворянский внук...  
Они скончались все, но тихи-ль,  
При думе обо мне, их сны —  
Всех Переверзевых, Клейнмихель,  
Виновников моей весны,  
Лишенной денег и комфорта?  
И не достойны ли аборта  
Они из памяти моей?  
Все вы, Нелидовы и Дуки,  
Лишь призраки истлевших дней,  
Для слуха лишь пустые звуки...  
Склоняясь ныне над сумой,  
Таю, наперекор стихии,



Смешную мысль, что предок мой  
Был император Византии!..  
Но мне не легче оттого,  
А даже во сто крат труднее:  
Я не имею ничего,  
Хотя иметь, как будто, смею...  
И если бы я был осел,  
Четвероногая скотина,  
Я стал бы греческий престол  
Оспаривать у Константина!..  
Но, к счастью, хоть не из людей,  
Я всё-же человек и, значит,  
Как бедность жизнь мне не собачит,  
Имею крылышки идей,  
Летя на них к иному трону.  
Ах, что пред ним престол царьков?  
Мне Пушкин дал свою корону:  
Я — тоже царь, но царь стихов!

## 5.

Из жизни мамы эпизоды,  
Какие, по ее словам,  
Запомнил, расскажу я вам:  
Среди помещиков уроды  
Встречались часто. Например,  
Один из них, граф де-Бальмер,  
Великовозрастный детина,  
Типичный маменькин сынок,  
Не смел без спроса рвать жасмина  
И бутерброда с'есть не мог;  
Не смел взглянуть на ротик Лизин,  
Когда был привозим на бал.  
Таких детей воспел Фонвизен



И недорослями назвал.  
Другой потешный тип — Фонтани:  
Тот, ростом просто лиллипут,  
Любил вареники в сметане,  
И мог их скушать целый пуд.  
Он был обжорою заправским,  
Чем славился на весь уезд,  
Шатаясь по приемным графским,  
Выискивая в них невест.  
Был и такой еще помещик,  
Который, взяв с собою вещи  
И слуг, в чужой врывался дом,  
Производя в сенях содом;  
И окружен детьми чужими,  
Взирая на чужих детей,  
Считая их семьей своей,  
Кричал рассеянно: „Что с ними  
Я буду делать? Чем, о чем  
Я накормлю их? ах, зачем  
Такое у меня семейство?“ —  
А вот пример „эпикурейства“:  
Вблизи Щигров жил-был один  
Мелкопоместный дворянин,  
Который так свалился низко  
(Причин особых не ищи!)  
Что чуть-ли не без ложки щи  
Лакал из миски... Эта миска —  
Его единственный сосуд.  
Когда-же предводитель, суд  
Над ним чиня, его поставил  
В условия лучшие, сей Павел  
Иваныч Никудышный взял  
И долго жить всем приказал, —



Что называется, не вынес:  
Людская жизнь не по нутру  
Пришлась ему, и по утру  
Он умер, так и не „очинясь  
В чин человека“... Как-то раз  
Вкатил в „Гремячку“ тарантас:  
Пожаловала в нём Букашка,  
Одна помещица из „Горст“,  
А вслед за ней ее Палашка,  
Неслась галопом двадцать вёрст!  
Шол пар от лошадей и девки...  
Еще бы! Как не шол бы пар!  
Какие страшные издевки!  
Какая жуть! Какой кошмар!  
Одна соседка — белоручка  
Весьма типичною была:  
Любовь помещица звала:  
„Сердечновая закорючка.“  
Никто, пожалуй, не поверит,  
Но вот была одна из дев,  
Что говорила нараспев:  
— „Ах, херес папочка мадериг,  
Но к вечеру он примет Вас,  
Когда перемадерит херес“...—  
Какая чушь! какая ересь!  
Неисчерпаемый запас  
Дворянской жизни анекдотов!  
Но чем-же лучше готтентотов  
Голубокровь и белокость?  
Вбиваю я последний гвоздь,  
Гвоздь своего пренебреженья  
В анекдотический сундук,  
Где в кучу все без уваженья



Мной свалены, будь то сам Дук,  
Будь то последняя букашка...  
О, этот смех звучит так тяжело!..

6.

За генерала-лейтенанта  
Мать вышла замуж. Вдвое муж  
Ее был старше, и без Канта  
Был разум чист его к тому-ж...  
Он был похож на государя,  
Освободителя-царя,  
И прожил жизнь свою незря:  
Мозгами по глупцам ударя,  
Он вскоре занял видный пост,  
Соорудя Адмиралтейство,  
И, выстроив Дворцовый мост,  
Он обошелся без злодейства.  
Имел двух братьев; был один  
Сенатором; другой-же гласным.  
Муж браком с мамой жил согласным,  
И вскоре дожил до седин,  
Когда в могилу свел его  
Нарыв желудка — в Рождество.  
Он был вдовец, и похоронен  
В фамильном склепе близ жены, —  
Все Домонтовичи должны  
В земле быть вместе: узаконен  
Обычай дряхлой старины.  
Ему был предком гетман Довмонт,  
Из старых польских воевод.  
Он под Черниговом в сто комнат  
Имел дворец над лоном вод.



Гостеприимство генерала,  
Любившего картёжный хмель,  
Еженедельно собирало  
На винт четыре адмирала:  
Фон-Берентс, Кроун, Дюгамэль  
И Пузино. Морские волки,  
За картами и за вином,  
Рассказывали о своем  
Скитании по свету. Толки  
Об их скитаньях до меня  
Дошли, и жизнь воды, маня  
Собой, навек меня прельстила.  
Моя фантазия гостила  
С тех пор нередко на морях,  
И, может быть, они — предтечи  
Моей любви к воде. Далече  
Те дни. На мертвых якорях  
Лежат четыре адмирала,  
Но мысль о них не умирала  
В моем мозгу десятки лет,  
И вот теперь, когда их нет,  
Я вовсе их не знавший лично,  
С отрадой вспоминаю их,  
И как-то вдохновенно — клично  
О них мой повествует стих.  
В те дни цветны фамилий флаги,  
Наш дом знакомых полон стай:  
И математик Верещагин,  
И Мравина, и Коллонтай, —  
В то время Шура Домонтович, —  
И черноусыч, чернобровыч  
Жених кузины, офицер;  
И сын Карамзина, и Салов, —



Мой крестный, матери beau-frère —  
И Гассман, верный из вассалов,  
И он воспетый де-Бальмэр;  
И, памяти недоброй, Штюрмер,  
Искавший маминой руки  
В дни юности. Сановник умер,  
И все той эры старики.

7.

От брака мамы с генералом  
Осталась у меня сестра.  
О, детских лет ее пора  
Была прекрасной: бал за балом  
Мелькал пред взорами ее!  
Но впрочем детство и мое,  
Не омраченное нуждою  
(Её познал потом поэт),  
По своему прекрасно. Зою,  
Что старше на двенадцать лет,  
Всегда я вспоминаю нежно.  
Как жизнь ее прошла элежно!  
Ее на свете больше нет,  
О чем я искренне жалею:  
Она, ведь, лучшею моею  
Всегда подругою была.  
Стройна, красива и бела,  
Восторженна и поэтична,  
Она любила мир атичный;  
Все воскрыления орла  
Сестрой восприняты отлично.  
Как жаль, что Зоя умерла!



## 8.

Мать с ней жила в Майоренгофе, —  
Ах, всякий знает рижский шtrand! —  
Когда с ней встретился за кофе  
У Горна юный ад'ютант.  
Он оказался Лотарёвым,  
Впоследствии моим отцом;  
Он мать увлек весенним зовом,  
И всё закончилось венцом.  
Напрасно полицмейстер Гротхус,  
Ухаживая, на коне  
К ней на веранду, при луне, —  
Как говорят эстонцы: „kotkas“, —  
Орлом, бравируя, в'езжал;  
Барон, красавец златокудрый,  
Напрасно от любви дрожал  
И не жалел любовных жал:  
Его затмил поручик мудрый.

## 9.

... Я видел в детстве сон престранный:  
Темнел провалом зал пустой,  
И я в одежде златотканной  
Читал на кафедре простой,  
На черной бархатной подушке  
В громадных блёстках золотых . . .  
Аплодисменты, точно пушки,  
В потемках хлопали пустых . . .  
И получалось впечатленье,  
Что этот весь безлюдный зал  
Меня приветствовал за чтение  
И неумолчно вызывал . . .



Я уклоняюсь от тракторки  
Мной в детстве виденного сна . . .  
Той необычной обстановки  
Мне каждая деталь ясна . . .  
Я слышу до сих пор тот взрывной  
Ничьих аплодисментов гул . . .  
Я помню свой экстаз порывный, —  
И вот о сне упомянул . . .

10.

Мне было пять, когда в гостиной  
С Аделаидой Константиновой,  
Которой было тридцать пять,  
Я, встретясь в первый раз, влюбился;  
Боясь об этом дать понять  
Кому-нибудь, я облачился  
В гусарский — собственный! — мундир,  
Привесил саблю, и явился  
Пред ней, как некий командир  
Сердец изысканного пола . . .  
С нее ведет начало школа  
Моих бесчисленных побед  
И ровно стольких женских бед . . .  
Я подошел к ней, шаркнув ножкой  
И шпорам дав шикарный звяк,  
Кокетничая так и смяк,  
Соперничая втайне с кошкой,  
Что на коленях у неё  
Мурлыкала. Увы, пропало  
Старанье нравиться мое:  
Она меня не замечала.  
Запомните одно, Адэль:  
Теперь переменялись роли,



И дни, когда меня пороли,  
За миллионами недель.  
Теперь у всех я на виду,  
И в том числе у Вас, понятно ;  
Но я к Вам больше не иду :  
Ведь Вам столетье, вероятно ! . . .

11.

Я, к счастью, вскоре позабыл  
Любви отвергнутой фиаско :  
Я тройку папочных кобыл  
В подарок получил и каску  
Кавалергардскую, взамен  
Гусарской меховой с султаном . . .  
Мне захотелось перемен, —  
Другим загрезился я станом :  
Брюнетки, старшей на пять лет  
Меня, Сели — новой Варюши ;  
В нее влюбился я „по уши“,  
И блеск гвардейских эполет,  
Носимых мною, ей по вкусу  
Пришелся. Вскоре сделал я  
Ей предложенье, не тая  
Любви и подарил ей . . . бусу  
Стеклянную на память ! Дар  
Предсвадебный невесту тронул.  
Вот как влюблялся экс-гусар,  
Имевший склонность к аристону,  
Чью ручку он вертел все дни,  
На нем „Ильбаччио“ играя,  
И гимн „Господь, царя храни !“  
Ему казался гимном рая . . .



## 12.

Совать мне пробовали бонн,  
Француженок и англичанок,  
Но с ними я такой брал тон,  
Предпочитая взвизги санок  
Научным взвизгам этих дев,  
Что бонны сыпались картечью  
Со всей своей картавой речью,  
Ладони к небесам воздев...  
И только Клавдия Романна,  
Mademoiselle моей сестры,  
Одна могла, как то ни странно,  
В разгаре шуток и игры,  
Меня учить, собирая в стаю  
Рои разрозненные дум,  
По сборнику: „И я читаю“, —  
И зачитал я наобум...

## 13.

Мой путь любовью осюрпризен,  
И удивительного нет,  
Что я влюблен в Марусю Дризэн,  
Когда мне только девять лет.  
Ей ровно столько же. На дачах  
Мы с нею жили vis-à-vis;  
И как нас бонна ни зови,  
Мы с ней погружены в задачах...  
Не арифметики, --- любви!  
Ее папаша был уланский  
Полковник, с виду Антиной,  
Германец, так сказать, курляндский,  
Что вечно влагою цимлянкой  
Гасил кишки гвардейских зной...



Упомянуть я должен вкратце  
О Сандро, шаловливом братце  
Моей остзейской Лорелей,  
Про скандинавских королей  
И викингов любившей саги  
Из уст двух дядь и на бумаге,  
Где моря влажь милей, чем твердь;  
О толстой гувернантке — немке  
И о француженке, как жердь;  
Но как ты не жестокосердь  
Моей безоблачной поэмки  
Ее фигуркою, madame  
Я уваженье лишь воздам...

14.

В саду игрушечный домишко  
Нам заменял Chateau d'amour,  
Где тонконогая Амишка  
Нас сторожила, как лемур...  
У нас была своя посуда,  
Свои любимые цветы  
И от людского пересуда  
В душе таимые мечты.  
Ей шло батистовое платье,  
Белей вишневых лепестков,  
И, если стану вспоминать я  
Ту крошку, фею мотыльков,  
Не меньше тысячи стихов  
Понадобится мне, пожалуй,  
Меж тем, как сжатость — мой девиз;  
И вот прошу транзитных виз  
В посольстве Памяти усталой:  
Ведь крошка — только эпизод,



А пункт конечный назначенья —  
Всё детское без исключенья;  
И как для зуба креозот,  
Страшны художнику длинноты. . .  
Итак беру иные ноты,  
Что называется, пальнув  
В читателя старушьей сплетней;  
Всё это оказалось пуф  
Впоследствии, но нашей летней  
Любви был нанесён урон;  
Как в настоящей камарильи,  
Старушки в кухне говорили,  
Что я, как некий Оберон,  
В Титанию влюбленный, Варю  
Сели — нову на дачу жду.  
Я не могу понять нужду, —  
Затем, что сам я не кухарю, —  
Заставившую рты стряпух  
Пустить такой нелепый слух.  
Тот слух растягивал их харю  
В ухмылку пошлую. Они  
Уже высчитывали дни  
Приезда маленькой смуглянки  
И, в жарком споре, били склянки,  
Тарелки, миски и графин.  
Строй Аграфен из Агриппин  
Судил о детских впечатленьях  
С не детской точки зренья; их —  
Испорченных, развратных, злых, —  
Отбросим в грязных их сомненьях,  
И скажем, что одна из фраз  
О Варе долетела раз  
До слуха хрупкого Маруси. . .



## 15.

Закат оранжевый, орусив  
Слегка пшеничность мягких кос,  
Вложил в ее уста вопрос :  
— „Я слышала, ты ждешь Варюшу  
Какую-то... Но кто-ж она?  
Она в тебя не влюблена?  
О, не смущайся: не нарушу  
Я Вашей дружбы“ ... — А в глазах  
Блеснули слезы, и в слезах  
Она обиженную душу  
Оплакивала, не шутя,  
Маруся это *monstre* — дитя . . .  
Я ей признался, что до встречи  
С ней, может быть, когда-нибудь,  
И пробовал я обмануть  
Себя иллюзией, но путь  
Мой твердым стал при ней, что речи  
Былые, детские, не в счёт,  
Что я теперь совсем не тот,  
Что я серьезнее и старше,  
Что взрослый я уже почти,  
Что „ты внимательно прочти  
Страницы сердца: в них не марши  
Парадные, а траур месс“,  
Что я без шалостей, и без  
Каких бы ни было там шуток,  
Ее люблю, что мрачно — жуток  
Мой умудренный жизнью взор ;  
Я указал на кругозор  
Ей мой, на важные задания,  
На взлёт идей, и, в назиданье,



По предположенным усам  
Крутя рукой, „белугой“ сам  
Расплакался перед малюткой . . .  
И розовую незабудкой  
Лицо Маруси расцвело, —  
Она нашла успокоенье  
В моих словах: спустя мгновенье,  
Безоблачным ее чело  
И ласковым, как прежде, стало.  
Чего бы нам не доставало,  
Имевшим всё: полки солдат,  
Корабль и кукол гардеробы,  
Любви веселые микробы,  
Куртин стозвонный аромат,  
И даже свой Chateau d'amour. —  
Об'ект стремлений наших кур?! . . .

16.

Мелькали девять лет, как строфы  
В романе, наших дач ряды —  
Все эти Стрельны, Петергофы,  
Их павильоны и пруды.  
Мы жили в Гунгербурге, в Стрельне,  
Езжали в Царское Село.  
Нет для меня тоски смертельной,  
Чем это дачное тягло! . . .  
Но то теперь. А раньше? Раньше,  
Не зная духа деревень,  
Я уподоблен капитанше,  
Считавшей резедой . . . ремень!  
Вернувшись с дачи в эту осень,  
Забыв роскошное шато  
И парка векового лосень,



Я стал совсем ни сё — ни то:  
Избаловался, разленился,  
Отбился попросту от рук . . .  
Вот в это время появился  
Ильюша, будущий супруг  
Моей сестры. Я на моменте  
Предсвадебном останавлиюсь  
И несколько назад вернусь . . .

17.

Отец ушел в запас. В Ташкенте,  
Где закупал он в город Лодзь  
Мануфактуре ткацкой хлопок,  
Он пробыл года два. От „стопок“  
Приятельских (ах, их пришлось  
Ему немало!), от кроваток  
На мокрой зелени палаток,  
От путешествия в Париж,  
Что обошлось почти в именье,  
От всех Джульетт, от всех Мариш,  
Почувствовал он утомленье  
И боли острые в груди:  
Его чахотка впереди  
Ждала. Итак, пока мы скосим  
Два года до венца сестры,  
И обозначим в тридцать восемь  
Отцовский возраст той поры.  
Случайно, где-то в Самарканде,  
На санаторийной веранде.  
Он познакомился с Ильей,  
Штабс-капитаном гарнизона,  
И эта важная персона  
Впоследствии моей сестрой



Изволила увлечься: в гости  
Отец к нам приезжал зимой  
С Ильею вместе. Мрачной злости  
С невинных глаз не разобрал  
В Илье, в него влюбилась Зоя.  
Он показал покорный нрав.  
Но, говоря меж нами, — соя  
Преострая был этот муж,  
И для таких тончайших душ,  
Как Зоина, изрядно вреден.  
Он внешне интересно — бледен,  
Довольно робок, вмеру беден,  
Имел пушистые усы,  
Имел глаза, темней агата.  
Так иногда, ласкаясь, псы  
Сгибают спины виновато. . .

18.

Итак, Илья — уже жених.  
Не мало мог я рассказать бы  
О яркой пышности их свадьбы,  
Но надо экономить стих  
И трудно говорить о них  
Подряд: ведь, вспоминая Зою,  
Благоговею я душой,  
А муж ее, — он мне чужой,  
Антипатичный. Я не скрою,  
Что он нам сделал много зла:  
Мне и моей пассивной маме.  
Я расскажу теперь о драме,  
Которая произошла,  
Увы, не без его участия . . .  
У мамочки он отнял счастье



Со мною быть; его совет  
Отцу, приехавшему к свадьбе,  
Решил судьбу мою. И свет  
В новопостроенной усадьбе,  
Куда отец меня увез,  
Моим очам явился в свете  
Совсем ином. О, сколько слёз  
Мои глаза познали — эти,  
Которыми теперь смотрю  
На белолистые страницы,  
Их бисеря пером! Мне мнится  
Сестры венчанье. К алтарю  
Введения во храм, в атласе,  
Под белым газом, по ковру  
Идущая сестра. Беру  
Тот миг, когда в иконостасе  
Коричневая темень глаз  
В лучах лампад глядит на нас.  
Я — мальчик с образом. В костюме  
Матросском, белом, шерстяном.  
Мои глаза в печальной думе  
Всё об одном, всё об одном:  
Как долго проживет родная?  
Душа мне говорит: „Проси  
У Бога милости: одна я“...  
О, Боже! мамочку спаси!..  
... А тут и этот бездыханный  
Зал, и ладоней гулкой стон. . .

Я видел в детстве сон престранный. . .  
Престранный сон. . . Престранный сон. †



## Часть II



1.

Завод картонный тети Лизы  
На Андоге, в глухих лесах,  
Таил волшебные сюрпризы  
Для горожан, и в голосах  
Увиденного мной впервые  
Большого леса, был призыв  
К природе. Сердцем ощутив  
Ее, запел я; яровые  
Я вскоре стал от озимых  
Умело различать; хромых  
Собак жалеть, часы на псарне  
С борзыми дружно проводя,  
По берегам реки бродя,  
И всё светлей, всё лучезарней  
Вселенная казалась мне.  
Бывал я часто на гумне,  
Шалил среди веселой дворни,  
И через месяц не был чужд  
Ее, таких насущных, нужд.  
И понял я, что нет позорней  
Судьбы бесправного раба,  
И втайне ждал, когда труба  
Непогрешимого Протеста  
Виновных позовет на суд,  
Когда не будет в жизни места  
Для тех, кто кровь рабов сосут...  
Пока же, в чаяньи свободы,



В природу я вперял свой взгляд,  
Смотрел на девьи хороводы,  
Кормил доверчивых цыплят.  
Где вы теперь, все плимутроки,  
Вы, орпингтоны, фавероль?  
Вы дали мне свои уроки,  
Свою сыграли в жизни роль.  
И уж, конечно, дали знаний  
Не меньше, чем учителя,  
Глаза в лесу бродивших ланей  
И реканье коростеля . . .  
Уставши созерцать старушню,  
Без ощущений, без идей,  
Я часто уходил в конюшню,  
Взяв сахара для лошадей.  
Меня встречали ржаньем морды:  
„Касатка“, „Горка“ и „Облом“  
Со мною были меньше горды,  
Чем ты, манерный тёткин дом . . .

2.

Сближала берега плотина.  
На правом берегу реки  
Темнела фабрики махина,  
И воздух резали свистки.  
А дом и все жилые стройки  
На левой были стороне,  
Где повара и судомойки  
По вечерам о старине,  
Сойдясь, любили погугорить,  
Попеть, потанцевать, поспорить  
И прогуляться при луне.  
Любил забраться я в каретник,



Где гнил заброшенный дормез.  
Со мною Гришка — однолетник,  
Шалун, повеса из повес,  
Сын рыжей скотницы Евгеньи;  
И там, средь бричек, тюльбэри,  
Мы, стибрив в кладовой варенье,  
В пампассы, — чорт нас побери! —  
Катались с ним, на месте стоя...  
Что нам Америка! пустое!  
Нас безлошадий экипаж  
Вез через горы, через влажь  
Морскую. Детство золотое!  
О детство! если бы не грусть  
По матери, чьи наизусть  
Почти выучивал я письма,  
Я был бы счастлив, как Адам  
До яблока... Теперь я дам  
Гришутке, — как не торопись мы  
Из Аргентины в нашу глушь,  
К обеду не поспеем! — куш:  
На пряники и мёд полтинник,  
А сам — к балкону, дай Бог прыть,  
Не слушая, что говорить  
Во след мне будет дрозд-рябинник.

### 3.

А в это время шла на Суде  
Постройка фабрики другой,  
Где целый день трудились люди,  
Согбенные от нсш дугой.  
Завод свой тётка продавала:  
Он был турбинный, и доход  
Не приносил не первый год;



И опасаясь до провала  
Всё дело вскоре довести,  
И после планов десяти,  
Она решила паровую  
Построить фабрику в верстах  
В семи от прежней, на паях  
С отцом, и, славу мировую  
Пророча предпринять, в лес  
Присудский взоры обратила.  
Так, внемля ей, отец мой влез  
В невыгодную сделку. Мило  
Начало было, но, спустя  
Четыре года, всё распалось,  
И тетушка одна осталась,  
Об этом, впрочем, не грустя;  
В том удивительного мало:  
Отец мой был не коммерсант,  
В наживе слабо понимала  
И тетушка: ведь, прейс-курант  
Сортов картона — не Жорж-Занд! . .  
На новь! Прощай, завод турбинный  
И дюфербреров провода,  
И в час закатный, в час рубинный,  
Ты, тихой Андоги вода!

4.

От мглы людского пересуда  
Приди, со мной повечеряй  
В таёжный край, где льется Суда. . .  
Но стой, ты знаешь ли тот край?  
Ты, выросший в среде уродской,  
В такой типично-городской,



Не хочешь ли в край новгородский  
Притти со всей своей тоской?  
Вообрази, воображенья  
Лишенный, грёз моих стези,  
Восторженного выраженья  
Причины ты вообрази.  
Представь себе, представить даже  
Ты не умеющий, в борьбе  
Житейской мозгу взяв бандажи  
Наркотиков, представь себе  
Леса дремучие вёрст на сто,  
Снега с корою синей наста,  
Прибрежных скатов крутизну  
И эту раннюю весну,  
Снегурку нашу голубую,  
Такую хрупкую, больную,  
Всю — целомудрие, всю — грусть...  
Пусть я собой не буду, пусть  
Я окажусь совсем бездарью,  
Коль в строфах не осветозарю  
И пламенно не воспою  
Весну полярную свою!

5.

Лёд на реке, себя вздымая,  
Треща, дрожа и трепеща,  
Лишь ждёт сигнального праща:  
Итти к морям навстречу мая.  
Лёд иззелено — посинел,  
Разокнился весь полыньями...  
Вот трахнул гром во льду! Конями  
Помчались льдины, снежность тел  
Своих ледяных тесно сгрудив,



Друг друга на пути дробя,  
Свои бока об'изумрудив  
В лучах светила, и себя  
В весеннем солнце растопляя...  
И вот пошла река, гуляя  
Своей разливною гульбой!  
Ты потрясен, Господь с тобой?  
Ты не находишь от восторга  
Слов, в междометья счастье влив?  
О, житель городского торго,  
Радио-станции и морга,  
Ты видел ли реки разлив,  
Когда мореют, водянеют  
Все нивы, пажити, луга,  
И воды льдяно пламенеют,  
Свои теряя берега?  
В них отраженные синеют  
Стволы деревьев, а стога,  
Телеги, сани и поленья,  
Среди стволов, плывут в оленьи  
Трущобы, в дебри; и рога,  
Прижав к спине, в испуге, лоси  
Бегут, спасаясь от воды,  
Передыхая на откосе  
Мгновенье: тщетные труды!  
Вода настигнет всё, и смоев  
Оленей, зайцев и лисиц,  
И тем, кого гора не скроет,  
Пред нею пасть придется ниц...

6.

С утра до вечера кошовник  
По Суде гонится в Шексну.



Цвет лиц алее, чем шиповник,  
У девок, славящих весну  
Своими песнями лесными,  
Недремлющих у потесей,  
И Божье раздаётся имя  
Над Судой быстроводной всей.  
За ними „тихвинки“ и баржи  
Спешат стремглав в перегонки,  
И мужички, — живые шаржи, —  
За поворотами реки,  
Извилистой и прихотливой,  
Следят, всё время начеку,  
За скачкой бешено-гульливой  
Реки, тревожную тоску  
В них пробуждающей. На гонку  
С расплыва налетит баржа,  
Утопит на ходу девченку,  
Девченкою не дорожа. . .  
И вновь, толпой людей рулима,  
Несётся по теченью вниз,  
Незримой силою хранима,  
Возить товары на Тавриз  
По Волге через бурный Каспий,  
Сама в Олонецкой родясь. . .  
Чем мужичок наш не был распят!  
Острог, сивуха, рабство, грязь,  
Невежество, труд непосильный —  
Чего не испытал мужик. . .  
Но он восстал из тьмы могильной,  
Стоический, любвеобильный. —  
Он исторически-велик!



## 7.

Теперь, покончив с ледоходом,  
Со сплавом леса и судов,  
Построенных для городов  
Приволжских, голод „бутербродом  
Без масла“ скромно утоля,  
Я перейду к весне священной,  
Крыля душою вдохновенной,  
К вам, пробужденные поля.

Дочь Ветра и Зимы, Снегурка, —  
Голубожильчатый Ледок, —  
Присела, кутаясь в платок...  
Как солнечных лучей мазурка  
Для слуха хрупкого резка!  
У белоствольного леска  
Берёзок, сидя на елани,  
Она глядит глазами лани,  
Как мчится грохотно река.  
Пред нею вьются завитушки  
Еще недавно полых вод.  
Снегурка, сидя на горушке  
С фиалками, как на подушке  
Лилово-шолковой, поет.  
Она поет, и еле слышно  
Хрусталит трели голосок.  
Ей грустно внемлет беловишня,  
Цветы роняя на песок.  
И белорозые горбуньи,  
Невесты — яблони, чей смят  
Печалью лик, внемля певунье,  
Льют сидровый свой аромат.  
Весна поет так ниочёмно,  
И в ниочёмности ее



Таится нечто, что огромно,  
Как всё земное бытие.  
Весна поет. Лишь алый кашель  
Порой врывается к ней в песнь.  
Ее напев сердца онашил.  
Ах, нашею он сделал веснь!  
Алмаз в глазах Весны блистает:  
Осолнеченная слеза...  
Весна поет, и в песне тает...\*)  
И вскоре в воздухе глаза  
Одни снегурочкины только  
Сияют, ширятся, растут;  
И столько нежности в них, столько  
Предчувствия твоихъ минут,  
Предсмертье, столько странной страсти,  
Неразделенной и больной,  
Что разрывается на части  
Душа весной перед Весной!..  
И чем полней вокруг расцвета  
И жизни сила, чем слышней  
Шаги спешащего к нам лета,  
В горячей роскоши своей,  
Тем шире грусть в очах весенних,  
И вскоре поднебесье сплошь  
Об'ято ими: жизни ложь  
В весенних кроется мгновеньях:  
— Живой! подумай: ты умрешь!.. —

8.

Череповец, уездный город,  
Над Ягоброй расположен.  
И в нем, среди косматых бород,

\*) М. Лермонтов: „Она поет, и звуки тают...“



Среди его лохматых жон,  
Я прожил три зимы, в Реальном,  
Всегда считавшимся опальным  
За убиение царя  
Воспитанником заведенья,  
Учась всему и ничему  
(Прошу покорно снисхожденья!..)  
Люблю на севере зиму,  
Но осень и весну, и лето  
Люблю не меньше. О поре,  
О каждой, много песен спето.  
Приехав в город в сентябре,  
Заделался я квартирантом  
Учителя, и потекли, —  
Как розово их не стекли! —  
Дни серенькие. Лаборантам,  
Чиновникам и арестантам  
Они знакомы, и про них  
Особо нечего сказать мне.  
По праздникам ходили к Фатьме,  
К гадалке (гривеник всего  
Она брала, и оттого  
Был сказ ее так примитивен...  
Ах, отчего не дал семь гривен  
Я ей тогда, и на сто лет  
Вперед открыла бы гадалка  
Число мной с'еденных котлет!..)  
Еще нас развлекала галка,  
Что прыгала среди сорок  
По улице, и поросёнок,  
На солнце гревшийся, спросонок,  
Как новоявленный пророк,  
Перед театром лежа, хрюкал;  
Затем я помню, вроде кукол,



Туземных барышен; затем,  
Просыпывая горсти тем,  
Сажусь не в городские санки,  
А в наш каретковый возок,  
И, сделав ручкой черепанке,  
Перекрестясь на образок,  
Лечу на сумасшедшей тройке  
Лесами хвойными, гуськом,  
К заводской молодой постройке  
С Алёшей, сверстником-князьком!

9.

Уже проехали Нелазу,  
За нею Шулому, и вот,  
Поворотив направо сразу,  
Тимошка к дому подает  
Не порожнем, а с седоками . . .  
В сенях встречают нас гурьбой,  
С протянутыми к нам руками,  
Снимая шубы, девки-бой.  
Мы не озябли: греет славно  
Тела сибирская доха!  
Нам любопытно и забавно  
Шнырять по комнатам. Уха  
С лимоном, жирная, стерляжья,  
Пропомидорена остро.  
И шейка Санечки лебяжья  
Ко мне сгибается хитро.  
И прыгает во взорах чортик,  
Когда она несет к столу  
Угря, лежащего, как кортик,  
Сотэ, ризото, пастилу!



## 10.

Был повар старший из яхт-клуба,  
Из английского был второй.  
Они кормили так порой,  
Что можно было скушать губы...  
Паштет из кур и пряженцы;  
И рябчики с душиком, с начинкой,  
Икрой прослоенной, пластинкой  
Филе делящей; варенцы;  
Сморчки под яйцами крутыми;  
Каштаненные индюки;  
Орех под сливками густыми; —  
Шедэвры мяса и муки!..  
Когда, бывало, к нам на Суду  
In сохроге с'езжался суд,  
В пустую не смотрел посуду:  
Все гости пальцы обсосут,  
Смакуя кушанья, бывало,  
И уедаясь до отвала,  
С почтеньем смотрят на сосуд,  
В котором паровую стерлядь  
К столу торжественно несут...  
Но и мортира, ведь, ожерлить  
Не может большего ядра,  
Чем то, каким она бодра ..  
Так и желудок — как мортира —  
Имеет норму для себя...  
Сопя носами и трубя,  
Судейцы, — с лицами сатира,  
Верблюда, кошки и козла, —  
Боясь обеденного зла,  
Ползут по комнатам на отдых,  
Валясь в истоме на кровать



И начинают горевать  
О мене сытных, боле бодрых  
Обедах в городе своем,  
Которых мы не воспоем . . .

11.

Но как-же проводил я время  
В присудской „Сойволе“ своей?  
Ах, вкладывал я ногу в стремя,  
Среди оснеженных полей  
Катаюсь на гнедом „Спирютке“ ;  
Порой, на паре быстрых лыж,  
Под девий хохоток и шутки, —  
Поди, поймай меня! шалишь! —  
Носился вихрем вдоль околиц ;  
А то скользил на лед реки ;  
Проезжей тройки колоколец  
Звучал вдали. На огоньки  
Шел утомленный богомолец,  
И вечеряли старики.  
Ходил на фабрику, в контору,  
И друг мой, старый кочегар,  
Любил мне говорить про пору,  
Когда еще он не был стар.  
Среди замусленных рабочих  
Имел я множество друзей,  
Цигарку покурить охочих,  
Хозяйских подразнить гусей,  
Со мною взросло покалякать  
О недостатках и нужде,  
Бесслёзно кой о чем поплакать  
И посмеяться кое-где . . .



## 12.

Наш дом громадный, двухэтажный, —  
О, грусть, глаза мне окропи! —  
Был, разбревенчатым, с Колпи  
На Суду переплавлен. Важный  
И комфортабельный был дом...  
О нём, окрест его, легенды  
Передавались, но потом,  
Во времена его аренды  
Одной помещицей, часть их  
Перезабылась, часть другую  
Теперь, когда страх в сердце стих,  
Я вам, пожалуй, отолкую:  
В том доме жили семь сестёр.  
Они детей своих внебрачных  
Бросали на дворе в костер,  
А кости в боровах чердачных  
Муравили. По смерти их,  
Помещик с молодой женою  
Там зажил. Призраков ночных  
Вопль не давал чете покою:  
Рыдали сонмы детских душ,  
Супругов вопли те терзали, —  
Зарезался в безумьи муж  
В белоколонном верхнем зале;  
Жена повесилась. Сосед  
Помещика, один крестьянин,  
Рассказывал жене Татьяне:  
— „По вечерам, лишь лунный свет,  
Любви и нечисти рассадник,  
Дом озаряет, на крыльцо  
Брильянтовый в'езжает всадник.  
Лунеет мертвое лицо...“ —



## 13.

И в этом-то трагичном доме,  
Где пустовал второй этаж,  
Я, призраков невольный страж,  
Один жил наверху, где, кроме  
Товарищей, что иногда  
Со мной в деревню наезжали,  
Бездушье полное. Визжали  
Во мне все нервы, и, стыда  
Не испытав пред чувством страха,  
Я взрослых умолял: внизу  
Меня оставить, но, грозу  
Встречая, шел на верх, где плаха  
Ночного ужаса ждала  
Ребенка: тени из угла  
Шарахались, и рукомойник,  
Заброшенный на чердаке,  
Педалил, каплил: то покойник,  
Смывая пятна на руке  
Кровавые, стонал... В подушку  
Я зарывался с головой,  
Боясь со столика взять кружку  
С животворящею водой.  
О, если-б не тоска по маме  
И не ночей проклятых жуть,  
Я мог бы, согласитесь сами,  
С восторгом детство вспомнить!  
Но этот ужас беспрестанный,  
Кошмар, наряженный в виссон...  
Я видел в детстве сон престранный...  
Не правда-ли, престранный сон?



## 14.

Так я лежу в своей кроватке,  
Дрожа от ног до головы.  
Прекрасны днями наши святки,  
А по ночам — одно „увы“.  
Людской природы странно свойство:  
Я все ночное беспокойство,  
При первых солнечных лучах,  
Позабываю. Весь мой страх  
Ночной мне кажется нелепым,  
И я, бездумно радый дню,  
Над дико страшным ночью склепом  
Посмеиваюсь и труню.  
Взяв верного вассала — Гришку,  
Мы превращаемся в „чертей“  
И отправляемся в припрыжку  
Пугать и взрослых, и детей.  
Нам попадаются, по группам,  
Другие ряженые, нас  
Пугая в свой черед, как раз.  
И знаете-ли, в этом глупом  
Обычае — не мало крас!  
Луна. Мороз. И силы вражьи —  
В интерпретации людской.  
Рога чертей и рожи яжьи,  
Смешок и гутор воровской...  
Хвостом виляя, скачет княжич, —  
Детей заводских будоражич, —  
Трубя в охотничий рожок,  
И залепляет свой снежок  
В затылок Гришке-„дьяволенку“,  
Преследующему девчонку,  
Кричащему, как истый бес,  
Враг и науки, и небес...



## 15.

Без нежных женственных касаний  
Душа — как бессвященный храм :  
О горничной, блондинке Сане,  
Мечтаю я по вечерам.  
Когда волнующей походкой  
Идет мне стлать постель она,  
Мне мнится : в комнату весна  
Врывается, и с грустью кроткой  
Я, на кушетке у окна  
Майн-Ридовскую „Квартеронку“  
Читавший, закрываю том,  
С ней говоря о сём — о том,  
Смотря на спелую коронку  
Ее причёски под чепцом  
„Белее снега“. И лицом  
Играя робко, но кокетно,  
Она узор любви канвит,  
Смеется взрывчато-ракетно,  
Приняв задорно-скромный вид.  
Теперь, спустя лет двадцать, в сане  
Высоком, зная любовь княгинь,  
Я отвожу прислуге Сане,  
Среди моих былых богинь,  
Почётное, по праву, место,  
И здесь, в стране приморской эста,  
Благодаря, быть может, ей,  
Согревшей нежной лаской женской  
Дни отрочества, всё больней  
Мечтаю о душе вселенской  
Великой родины своей!



## 16.

Давали право мне по вёснам  
Увидеть в Петербурге мать,  
И я, послав привет свой соснам,  
Стараясь пароход поймать  
Ближайший, неся, через Рыбинск,  
Туда, в столицу на Неве.  
Был детский лик мой обулыбен,  
Скорбящий вечно о вдове  
Замужней, всё отдавшей мужу —  
И положенье, и любовь . . .  
Но, впрочем, кажется, я ужу,  
Чего не следует . . . Голгофь  
Себя, Голгофе обреченный!  
Неси свой крест, свершай свой труд!  
Есть суд высоко-вознесенный,  
Где всё рассудят, разберут . . .

## 17.

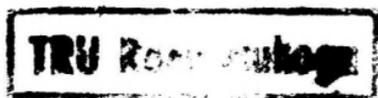
Пробыв у мамы три недели,  
Я возвращался, — слух наструнь! —  
На Суду, где уже Июнь  
Лежал на шолковой постели  
Полей зелёных, и, закрыв  
Глаза, в истоме, на обрыв  
Речной смотря, стонал о неге,  
И, чувственную резеду  
Вдыхая, звал, в полубреду,  
Свою неясную. Побег  
Травинок, ставшие травой,  
Напомнили мне возраст мой:  
Так отроком ставал ребенок.



И солнце, чей лучисто звонок  
И ослепителен был лик,  
Смеялось слишком откровенно  
И поощрительно: воздвиг  
Кузине Лиле вдохновенно,  
Лучей его заслышав клик,  
В душе, окрепшей, возмужалой,  
Любовь двенадцатой весны, —  
И эта-то любовь, пожалуй,  
Мои оправдывала сны,  
— Я видел в детстве сон престранный —  
Своей ненужной глубиной,  
Своею юнью осиянной  
И первой страстностью больной . . .

18.

Жемчужина утонков стили,  
В теплице взрощенный цветок,  
Тебе, о лильчатая Лиля,  
Восторга пламенный поток!  
Твои каштановые кудри,  
Твои уста, твой гибкий торс —  
Напоминают мне о Лувре  
Дней короля Louis Quatorze.  
Твои прищуренные глаза —  
. . . Я не хочу сказать глаза! . . . —  
Таят на дне своем экстазы,  
Присудская моя лоза.  
Исполнен голос твой мелодий,  
В нём — смех, ирония, печаль.  
Ты — точно солнце на восходе,  
Узвывая в болезненную даль . . .  
Но, несмотря на все изыски,





Ты сердцем девственно-проста.  
Классически твои записки,  
Где буква каждая чиста.  
Любовью сердце оскрижалась,  
Полно надзвездной синевы.

19.

Весною в „Сойволу“ с'езжались  
На лето гости из Москвы:  
Отец кузины, дядя Миша,  
И шестеро его детей,  
Сказать позволите: обезмыша, —  
Как выразился раз в своей  
Балладе старичок Жуковский, —  
И обестенив весь этаж,  
Где жить, в компании бесовской,  
Изволил в детстве автор ваш.  
Затем две пары инженеров,  
Три пары тётушек и дядь . . .  
Ах, рыл один из них жене ров,  
И сам в него свалился, глядь! . . .

Тогда на троечной долгуше  
Сооружались пикники  
Куда-нибудь в лесные глуши  
На берегах моей реки.  
По приказанью экономки,  
Грузили на телегу снесь;  
А тройка, натянув постромки,  
Туда, где властвовал медведь,  
Распыливалась. Пристяжные,  
Олебедив изломы шей,  
Тимошки выкрики стальные



Впивали чуткостью ушей.  
Хрипели кони и бесились,  
Склоняли морды до земли.  
Струи чьего-то амарилис  
Незримо в воздухе текли...  
В лесу — грибы, костры, крюшоны  
И русский хоровой напев.  
Там в дев преображались жоны,  
Преображались жоны в дев.  
Но девы в жон не претворились,  
Не претворялись девы в жон,  
Чем аморальный амарилис  
И был, казалось, поражен...

20.

Сын тёти Лизы, Виктор Журов,  
Мой и моей Лилит кузэн,  
Любитель в музыке ажуров,  
Отверг купеческий безмен:  
Студентом университета  
Он был, и славный бы юрист  
Мог выйти из него, но это  
Не вышло: слишком он артист  
Душой своей. Улыбкой скаля  
Свой зуб, дала судьба успех:  
Теперь он режиссер "La Scala",  
И тоже на виду у всех...  
О, мой Vittorio Andoga!  
Не ты-ль из Андоги возник?..\*  
Имел он сеттэра и дога,  
Охотился, писал дневник.  
Был Виктор страстным рыболовом:  
Он на досчанике еловом



Нередко ездил с острогой;  
Лая изрядно гордых планов,  
Ловил на удочку паланов;  
Моей стихии дорогой —  
Воды — он был большой любитель,  
И часто белоснежный китель  
На спусках к голубой реке  
Мелькал: то с удочкой в руке  
Он рыболовить шол. Ловите  
Момент, когда в разгаре клёв!  
Благодаря, быть может, Вите,  
И я — заправский рыболов.  
В моей благословенной Суде —  
В ту пору много разных рыб.  
Я, постоянно рыбу удя,  
Знал каждый берега изгиб.  
Лещи, язи и тарабары,  
Налимы, окуни, плотва.  
Ах, можно рыбою амбары  
Набить, и это не слова!..  
Водились в Суде и стерлядки,  
И хариус среди стремнин...  
Я убежал бы без оглядки  
В край голубых ее глубин!  
... О, Суда! голубая Суда!  
Ты, внучка Волги! дочь Шексны!  
Как я хочу к тебе отсюда  
В твои одебренные сны!..

•  
21.

Был месяц, скажем мы, центральный,  
Так называемый — июль.  
Я плывал по реке хрустальной



И, бросив якорь, вынул руль.  
Когда развеселенная стихла  
Вода, и выстоялась тишь,  
И поплавок, качаясь рыхло, —  
Ты просишь: „и его остишь!“ —  
В конце концов на месте замер,  
Увидел я в зеркальной раме  
Речной — двух небольших язей,  
Холоднокровных как друзей,  
Спешивших от кого-то в страхе;  
Их плавники давали взмахи.  
За ними спешно головы  
Лобастомордые скользили,  
И в рыбьей напряженной силе  
Такая прыть была. Вели  
Сорожек, точно на буксире,  
И, помню, было их четыре.  
И вдруг, усатый черный чорт  
Чуть не уткнулся носом в борт,  
Свои усища растопырив,  
Усом задев мешок с овсом:  
Полуторосаженный сом.  
Гигант застыл в оцепененьи,  
И круглые его глаза,  
С моими встретясь на мгновенье,  
Поднялись вверх, и два уса  
Зашевелились в изумленьи,  
Казалось, — над открытым ртом...  
Сом ждал, слегка руля хвостом.  
Я от волнения чуть не выпал  
Из лодки, и, взмахнув веслом,  
Удары на него посыпал,  
Идя в азарте на пролом.



Но он хвостом по лодке хлопнул  
И окатил меня водой,  
И от удара чуть не лопнул  
Борт крепкий лодки молодой.  
Да: „молодой“. Вы ждете: „новой“,  
Но так сказать я не хочу!  
Наш поединок с ним суровый  
Так и закончился вничью.

22.

Как девушка передовая,  
Любила волны ячменя  
Моя Лилит и, не давая  
Ей поводов понять меня  
С моей любовью к ней, сторожо  
Душой я наблюдал за ней,  
И видел: с Витею немножко,  
Чем с прочими, она нежней...  
Они, годами однолетки,  
Лет на пять старшие меня,  
Держались вместе, и в беседке,  
Бальмонтом Надсона сменя,  
В те дни входившим только в моду  
„Под небом северным“, природу  
Любя, в разгаре златодня  
Читали часто, или в лодке  
Катались вверх за пару вёрст,  
Где дядя строил дом, и прост  
Был тон их встреч, и нежно-кротки  
Ее глаза, каким до звёзд,  
Казалось, дела было мало:  
Она улыбочиво внимала  
Одной земле во всех ее



Печалях и блаженствах. Чье,  
Как не ее, боготворенье  
Земли передалось и мне?  
И оттого стихотворенья  
Мои — не только о луне,  
Как о планете: зачастую  
Их тон и чувственный, и злой,  
И если я луну рисую,  
Луна насыщена землей...  
Изнемогу и обессилю,  
Стараясь правду раздобыть:  
Как знать: любил ли Витя Лилю?  
Но Лиля — Витю... может быть!..

23.

Росой оранжевого часа,  
Животворяща, как роса,  
Она, кем вправе хвастать раса, —  
Ее величье и краса, —  
Ко мне идет, меня олиля,  
Измиловав и умиля,  
Кузина, лильчатая Лиля,  
Единственная, как земля!  
Идет ко мне наверх, по просьбе  
Моей, и, подойдя к окну,  
Твердит: „Ах, если мне пришлось бы  
Здесь жить всегда! Люблю весну  
На Суде за избыток грусти,  
И лето за шампанский смех!..  
Воображаю, как на устьи  
Красив зимы пушистый мех!“ —  
Смотря в окно на синелесье,  
Задрапированная в тюль,



Вздыхает: „Ах, Мендэс Катюль...“  
И обрывает вдруг: „Ну, здесь я...  
Ты что-то мне сказать хотел?...“ —  
И я, исполнен странной власти,  
Ей признаюсь в любви и страсти,  
И брежу о слияньи тел...  
Она бледнеет, как-то блёкнет,  
Улыбку болью изломав.  
Глаза прищуря, душу окнит  
И шепчет: „Милый, ты не прав:  
Ты так любить меня не можешь...  
Не смеешь... ты не должен... ты  
Напрасно гредишь и тревожишь  
Себя мечтами: те мечты,  
Увы, останутся мечтами, —  
Я не могу... я не должна  
Тебя любить... ну, как жена...“ —  
И подойдя ко мне, устами  
Жар охлаждает мой она,  
Меня в чело целуя нежно,  
По сёстрински, и я навзрыд  
Рыдаю: рай навек закрыт,  
И жизнь отныне безнадежна...  
Недаром мыслью многогранной  
Я плохо верил в униссон,  
Недаром в детстве сон престранный  
Я видел, вещей этот сон...  
Настанут дни — они обманут  
И необманные мечты,  
Когда поблёкнут и увянут  
Неувяданные цветы.  
О, знай, живой: те дни настанут,  
И всю тщету познаешь ты...



Отрадой грезил ты, — не падай  
В уныньи духом, подожди:  
Неугасимую лампадой  
Надежда теплится в груди.  
Сияет снова даль отрадой,  
Любовь и Слава — впереди!

## Часть III



1.

Для всех секрет полишинеля,  
Как мало школа нам дает.  
Напрасно, нос свой офланеля,  
Ходил в нее я пятый год:  
Не забеременила школа  
Моим талантом и умом,  
Но много боли и укола  
Принес мне этот „мертвый дом“,  
Где умный выглядел ослом.  
Убого было в нем и голо, —  
Давно пора его на слом!

2.

Я во втором учился классе,  
Когда однажды, в тарантасе  
Приехавший в Череповец,  
В знак дружбы, разрешил отец  
Дать маме знать, что, если хочет  
Со мною быть, ее мы ждем.  
От счастья я проплакал очи!  
Дней через десять, под дождем,  
Причалил к пристани „Владимир“,  
И мамочка, окружена  
Людьми старинными своими,  
Рыдала, стоя у окна.  
Восторги встречи! радость деться!



Опять родимая со мной!  
Пора: ведь, истекала третья  
Зима без мамочки родной.  
Отец обширную квартиру  
Нам нанял. Мамин-же багаж  
Собой заполнил весь этаж.  
О, в эти дни впервые лиру  
Обрёл поэт любимый ваш!  
Шкафы зеркальные, комоды,  
Диваны, кресла и столы —  
Возили с пристани подводы  
С утра и до вечерней мглы.  
Сбивались с ног, служа, девчѐнки,  
Зато и кушали за двух:  
Ах, две копейки фунт печѐнки  
И гривеник — большой петух!...  
И та, чья рожица омарья  
Всегда растянута в ухмыл,  
Старушка, дочка пономарья,  
Почти классическая Марья,  
Заклятый враг мочал и мыл,  
Была довольна жизнью этой  
И об'едалась за троих,  
„Пашкет“ утробовав „коклетой“  
На вечном склоне дней своих...  
Она жила полвека в доме  
С аристократною резьбой.  
Ее мозги, в своем содоме,  
Считали барский дом избой...  
И ногу обтянув гамашей,  
Носила шляпу-рвань с эспри,  
Имела гномный рост. „Дур-Машей“  
Была, что там не говори!



Глупа, как пень, анекдотична,  
Смешила и „порола дичь“,  
И что была она типична,  
Вам Федор подтвердит Кузмич . . .  
. . . Ей дан билет второго класса  
На пароходе, но она,  
Вся возмущенье и гримаса,  
Кричала: „Я пугаюсь дна, —  
Оно проломится, ведь, дно-то!  
Хочу на палубу, на свет“ . . . —  
Но больше нет листков блок-нота,  
И, значит, Марьи больше нет . . .  
Был сын у этой „дамы“, Колька,  
Мой сверстник и большой мой друг.  
Проказ, проказ-то было сколько,  
И шалостей заклятый круг!  
Однажды из окна гостиной  
Мы с ним увидели конька,  
Купив его за три с полтиной  
У рыночного мужика.  
Стал ежедневно жеребёнок  
Ходить к нам во второй этаж . . .  
Ах, избалованный ребёнок  
Был этот самый автор ваш!  
С утра друзья мои по школе,  
Меняя на проказы класс,  
Сбегались к нам, и другу Коле  
Давался наскоро заказ:  
Купить бумаги, красок, ваты,  
Фонарики и кумача,  
И, под мотивы „Гиаватты“,  
Вокруг Сашутки-лохмача,  
Кружились мы, загаром гнеды,



Потом мы строили театр,  
Давая сцены из „Рогнеды“, —  
Запомни пьесу, психиатр!..  
Горя театром и стихами  
И трехсполтинными конями,  
Я про училище забыл,  
Его не посещая днями;  
Но папа охладил мой пыл:  
Он неожиданно нагрянул  
И, несмотря на все мольбы,  
Меня увёз. Так в Лету канул  
Счастливый час моей судьбы!  
А мать, в изнеможеньи горя,  
Взяв обстановку и людей,  
Уехала, уже не споря,  
К замужней дочери своей.  
О, кто на свете мягче мамы?  
Ее душа — прекрасный храм!  
Копала мама сыну ямы,  
Не видя вовсе этих ям...

3.

Ту зиму прожил я в деревне,  
В негодовании зубря,  
По варварской системе древней,  
Всё то, что все мы зубрим зря.  
Я алгебрил и геометрил,  
Ха! это я-то, соловей!  
О, счастье! я давно разветрил  
„Науки“ в памяти своей...  
Мой репетитор, Замараев,  
Милейший Николай Ильич,  
Всё больше тёрся у сараев,



Рабочему бросая клич  
Объединенного Протеста,  
За что лишился вскоре места:  
Хотя отец — и либерал,  
Но бунт на собственном заводе  
Несносен в некотором роде:  
Бунт собственника разорял.  
„Бунтарь“ уволен. Математик  
На смену вызван из Твери.  
Он больше был по части „Катек“,  
Черт математика дери!  
Любила тётка преферансы, —  
Учитель был ее партнер.  
А я слагал в то время стансы,  
Швырнув учебник за забор.  
Так целодневно на свободе  
И предоставлен сам себе,  
Захлёбывался я в природе,  
Сидел у сторожа в избе,  
Кормил коней, влюблялся в Саню,  
Читал, что только мог прочесть...  
Об этом всё теперь романю,  
А вас прошу воздать мне честь!

4.

Учительского персонала  
Убожество не доканало  
Меня лишь оттого, что взят, —  
Пусть педагоги не грозят! —  
Я был отцом из заведенья,  
Когда, за год перед войной  
Русско-Японской, он со мной  
Уехал, потерпев крушенье



В заводском деле, на Квантун,  
Где стал коммерческим агентом  
В одном из пароходств. Бастун  
Спасительным экспериментом  
Еще не всколыхнул страны:  
Ведь, это было до войны.

5.

Мы по дороге к дяде Мише  
(Он в Серпухове жил тогда)  
Весной, когда в Оке вода,  
Бесчинствуя, вздымалась выше  
Песчано-скатных берегов,  
Заехали на две недели,  
И там я позабыл о цели  
Пути, и даже был готов  
С собой покончить: угодили  
Мы, страшно молвить, к свадьбе Лили...  
На фабрике громадной ткацкой  
Директорский имея пост,  
Михал Петрович, добр и прост,  
Любил отца любовью братской.  
Его помощник, инженер,  
Был женихом моей кузины, —  
Поклонник рьяный хабанер,  
Большой знаток своей машины,  
Предобродушнейший хохол  
И очень компетентный химик;  
На голове его хохол  
Не раз от трудолюбья вымок...  
Жених хохлацки грубоват,  
Но Лиля, ведь, была земною,  
И разве муж был виноват,



Что сделалась его женою  
Лилиесердная Лилит?  
Летит любви аэролит,  
Поберегись-ка ты, прохожий:  
Ты выглядишь, как краснокожий,  
Когда аэролит летит...  
Но я... но я не поберёгся,  
И что-же? сердца краснота  
Вдруг стала закопченной кокса, —  
Гарь эта временем снята...  
Теперь, пролетив четверть века,  
Сменяет лирику сарказм.  
Тогда-же я рыдал до спазм,  
От боли был почти калека...  
Вспеня свадебный фиал  
И пламную эпиталаму  
Читая, я протестовал,  
Из пира чуть не сделав драму...  
Перед от'ездом видеть маму  
Мне не дали, и, сев в экспресс,  
Умчались мы к горам Урала.  
Душа, казалось, умирала,  
Но срок истёк, — и дух воскрес!

6.

Ах, больше Крыма и Кавказа  
Очаровал меня Урал!  
Для большей яркости рассказа  
На нём я сделаю привал.  
В двух — трёх словах, конечно, трудно  
Воспеть красоты этих гор.  
Их тоны сине-изумрудны:  
На склонах мачтовидный бор.



Круты олесенные скаты,  
Стремглавы шустрые ручьи.  
В них апельсинные закаты  
Студят дрожащие лучи.  
Вздымаются державно сопки,  
Ущелья вьются здесь и там;  
Но мы в вагоне, как в коробке,  
И потому могу-ль я вам  
Сказать достойно об Урале,  
Чего он вправе ожидать?  
Молниеносно промелькали  
Мы гор уральских благодать.  
И мимо чукча, мимо чума,  
Для рифмы вспомнив про имбирь,  
По царству, бывшму Кучума,  
Перемахнули всю Сибирь!  
Я видел сини Енисея,  
Тебя, незлобивая Обь,  
Кем наша „матушка Рассея“, —  
Как несравнимая особь, —  
Не зря гордится пред Европой;  
И как судьба меня не хлопай,  
Я устремлѐн душою всей  
К тебе, о синий Енисей!  
Вдоль малахитовой Ангары,  
Под выступами скользких скал,  
Неслись, тая в душе разгары;  
А вот — и озеро Байкал.  
Пред ним склонѐн благоговейно,  
Теряю краски и слова,  
Пред строгой красотой бассейна  
Взволнованного божества . . .  
Святое море! Надо годы



Там жить, чтоб сметь его воспеть!  
Я только чую мощь природы . . .  
Ответь когда-нибудь, ответь  
Моей душе, святое море,  
Себя воспеть мне силы дай!  
В твоём неизмеримом взоре,  
Я грежу, отражён Алтай . . .  
Манчжурия, где каждый локоть  
Земли — посевная гряда,  
В неё вонзён китайский ноготь  
Эмблемой знойного труда . . .  
Манчжурия! ты — рукотворный  
Сплошной, цветущий огород.  
Благословен в труде упорный  
Твой добродетельный народ.  
И пусть в нём многое погано,  
Он многие сердца привлек,  
Когда, придя к ногам Хингана,  
В труде на грудь твою возлѣг . . .  
Кинчжоу, узкий перешеек;  
За ним, угрюмец и горюн,  
Страна сафирных кацавеек,  
В аренду нанятый Квантун  
На девяносто девять вѣсен  
Портсмутским графом, центр смут.  
Вопрос давно обезвопросен:  
Ответ достойный дал Портсмут . . .

7.

Мы в Дальнем прожили пол года,  
И трафаретно говоря:  
„Стояла дивная погода“  
От мая вплоть до декабря.



Я был японкою Кицтаки  
Довольно сильно увлечен ;  
С тех пор мечтать о Нагассаки  
Пожизненно я обречён . . .  
И пусть узнает мой биограф,  
Что был отец ее фотограф,  
А кем была Кицтаки мать —  
Едва-ль сумею вам сказать . . .  
Когда, стуча на деревяжках,  
Она идет, смотря темно,  
Немного сужено на ляжках  
Ее цветное кимоно.  
Надменной башенкой причёска  
Приподнялась над головой ;  
Лицо прозрачней златовоска ;  
Подглазье с томной синевой.  
Благоухает карилопсис  
От смуглого атласа рук.  
Любись и пой, и антилопся,  
Кицтаки, желтолицый друг ! . . .

В костюме белопарусинном,  
В такой-же шляпе и туфлях,  
Я шел в Китайский парк пустынный  
Грустить о северных полях . . .  
И у театра Тифонтая,  
Почти в тропической жаре,  
Ложился на траву, мечтая  
О вешней северной заре . . .  
Любуясь желтизной зелёной  
Воды, чем славен Да-Лянь-Вань,  
Вдыхая воздух вод солёный,  
Пел Сканды северную ткань  
Текучую. У Балтиморья



Скоплялись мысли и мечты.  
Так у Квантунского нагорья  
Мечтал с утра до темноты.  
Вода Корейского залива  
Влекла в Великий океан,  
В страну, где женщина — как слива . . .  
Вдали белел Талиенван,  
Напоминая о боксерском  
Восстаньи: днях, когда хунхуз,  
В своем остервененьи зверском,  
Являлся миру из обуз,  
Едва-ль, не самую ужасной,  
Когда, — припомни, будь так добр, —  
Его смиряли силой властной  
Суда: „Кореец“, „Сивуч“, „Бобр“.

У нас был „бой“ в халате ватном,  
Весь шелковый и голубой.  
Ах, он болтал на непонятном  
Китайском языке, наш „бой“!  
Китаец Ли — весёлый малый,  
Мы подружиться с ним могли,  
И если надо, что-ж, пожалуй,  
Я вспомню и китайца Ли.  
Мы с ним дружили, но китаец  
Однажды высмеял мой флаг.  
Он в угол загнан мной, как заяц,  
И мой почувствовал кулак:  
„Герой“ ему вцепился в косу  
И, подтолкнув его к откосу,  
На нём патриотизм излив,  
Чуть не столкнул его в залив.  
На вопли Ли сбежались кули,  
О чём-то с жаром лопоча,



Но я взревел! и, точно пули,  
Они „задали стрекача“ . . .  
Мы вскоре с „боем“ помирились,  
Вновь дружба стала голуба.  
Мне в нос вплывал не амарилис,  
А запах масла из боба . . .

8.

Вот в это время назревала  
Уже с Японией война,  
И, крови жаждя, как вина,  
Мечтали люди — до отвала  
Упиться ею: суждена  
Людскому роду кровь в напиток, —  
Ее на свете, ведь, избыток,  
И людям просто пир не в пир,  
Коль не удастся выпить крови . . .  
Как не завидовать корове:  
Ведь ей отвратен лязг рапир!

Туман сгущался, но, рассеяв  
Его, слегка поколебал  
Наместник царский, Алексеев,  
Угрозу битв, устроив бал,  
В противовес всему унынью.  
Тогда в кипящий летний зной  
Над всею необ'ятной синью,  
Верней сказать: над желтизной, —  
Красавец-лебедь, мелких бурек  
Не замечавший в громе бурь,  
Наш броненосный крейсер „Рюрик“  
Взвывает гордо флаг в лазурь.  
К нему, вперед пуская катер,



Припятитрубился „Аскольд“,  
От „Рюрика“ встав на кильватер.  
И увертюрой из „Rheingold“  
На крейсере открытье бала  
Оповещают трубачи.  
Как он, потомок Ганнибала,  
Я бал беру в свои лучи.

9.

К искусственному водопаду  
На палубе подвешен трап.  
Всю ночь танцует до упаду  
Веселья добровольный раб;  
Будь это в Ницце-ли, в Одессе-ль,  
Моряк — всегда везде моряк!  
И генерал приморский Стессель  
Шлет одобрительный свой „кряк“.  
И здесь-же Старк и Кондратенко,  
И Витгефт с Эссеном, и Фок,  
И мичманов живая стенка,  
И крылья, крылья дамских ног!  
Иллюминированы киоски,  
Полны мимоз и кризантэм.  
По рейду мчатся миноноски  
С гостями к балу между тем.  
Порхают рокотно ракеты,  
Цветут бенгальские огни.  
Кокеток с мест берут кокеты . . .  
А крейсер справа обогни,  
И там у Золотого Рога,  
Увидишь много — много — много  
И транспортов, и крейсеров  
В сияньи тысяч огоньков . . .



Тут и „Паллада“, и „Боярин“,  
И тот, чье имя чтит моряк,  
Чей славный вымпел оалтарен,  
В те дни обыденный, — „Варяг“.  
„Аскольд“ поистине аскольдчат,  
Вокруг хрустят осколки фраз  
И в дальном воздухе осколчат  
Мотивы разных „Pas de grâce“ . . .  
Военной строгости указник  
Бросает в воду вальса тур.  
Эскадра свой справляет праздник,  
И вместе с ней весь Порт-Артур.  
В серебряных играет жбанах  
Шампанское, ручьем журча.  
В литаврах звон, и в барабанах —  
Звяк шпор весеннего луча!  
Замысловатых марципанов  
Полны хрустальные блюда,  
И лязг ножей, и звон стаканов,  
И иглы „ягодного льда“ . . .  
Какой бы ни был ты понурик,  
Не можешь не взнести бокал,  
Когда справляет крейсер „Рюрик“  
В ночь феерическую бал! . . .

10.

За месяц до войны не вынес  
Тоски по маме и лесам,  
И, на конфликт открытый ринясь,  
Я в Петербург уехал сам,  
Отца оставив на чужбине,  
Кончающего жизнь отца.  
Что мог подумать он о сыне



В минуты своего конца,  
В далёкой Ялте, в пансионе?  
Кто при его предсмертном стоне  
Был с ним? кто снёс на гроб сирень?  
На кручах гор он похоронен  
В цветущий крымский майский день.  
Я виноват, и нет прощенья  
Поступку этому во-век.  
Различных поводов скрещенье:  
Отца больное раздраженье,  
Лик матери и голос рек,  
И шумы северного леса,  
И шири северных полей —  
Меня толкнули в дверь экспресса  
Далёкой родины моей,  
Чтоб целовать твои босые  
Стопы в деревне у гумна,  
Моя безбожная Россия,  
Священная моя страна!

# Книги Игоря-Северянина.

- т. I. „Громокипящий кубок“.  
Издание 1—7 — К-во „Гриф“, Москва. 1913.  
Издание 8—10 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва  
1918.
- т. II. „Златолира“.  
Издание 1—5 — К-во „Гриф“, Москва.  
Издание 6 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва.  
Издание 7 — К-во „Земля“, Петроград 1918.
- т. III. „Ананасы в шампанском“.  
Издание 1—2 — К-во „Наши Дни“, Москва 1915.  
Издание 3—4 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва.  
Издание 5 — К-во „Земля“, Петроград 1918.
- т. IV. „Victoria Regia“.  
Издание 1—2 — К-во „Наши Дни“, Москва 1915.  
Издание 3 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва.  
Издание 4 — К-во „Земля“, Петроград 1918.
- т. V. „Поэзоантракт“.  
Издание 1—2 — К-во „Северные Дни“, Москва  
Издание 3 — (Автора) 1919.
- т. VI. „Гост безответный“ (1915).  
Издание 1 — К-во „В. В. Пашуканис“, Москва.  
Издание 2 — К-во „Земля“, Петроград 1918.
- т. VII. „Миррэлия“ (1916—17).  
Издание 1 — К-во „Москва“, Берлин 1922.
- т. VIII. „Ручьи в лилиях“.  
Рукопись.
- т. IX. „Соловей“ (1918).  
Издание 1 — К-во „Накануне“, Берлин 1923.
- т. X. „Настройка лиры“.  
Рукопись.

- т. XI. „Вервэна“ (1918—19).  
Издание 1 — К-во „Odamees“, Юрьев 1920.
- т. XII. „Менестрэль“ (1919).  
Издание 1 — К-во „Москва“, Берлин 1921.
- т. XIII. „Amoges“. Книга стихов Генрика Виснапу.  
С эстонского.  
Издание 1 — Москва.
- т. XIV. „Фея Eiole“ (1920—21).  
Издание 1 — К-во „Отто Кирхнер“, Берлин 1922.
- т. XV. „Утёсы Eesti“. Антология эстийской лирики  
за 100 лет.  
Издание 1 — К-во „Вадим Бергман“, Юрьев.  
Выдет в 1925.
- т. XVI. „Предцветенье“. Книга стихов Марии  
Ундер. С эстонского.  
Рукопись.
- т. XVII. „Падучая стремнина“ (1922). Роман в  
стихах, в 2 частях.  
Издание 1 — К-во „Отто Кирхнер“, Берлин 1922.
- т. XVIII. „Литавры солнца“ (1922—23).  
Рукопись.
- т. XIX. „Колокола собора чувств“ (1923). Роман в  
стихах, в 3-х част.  
Издание 1 — К-во „Вадим Бергман“, Юрьев.
- т. XX. „Роса оранжевого цвета“ (1923). Поэма дет-  
ства в 3-х частях.  
Издание 1 — К-во „Вадим Бергман“, Юрьев.
- т. XXI. „Взор неизмеримый“ (1923—24).  
Рукопись.
- т. XXII. Рассказы в ямбах. (1923—24)  
Рукопись.
- т. XXIII. Спутники солнца.  
Статьи об искусстве.

II

